

ВОСПОМИНАНИЯ
о Николае
Асееве

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980



Д. С. ЛИХАЧЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ АСЕЕВЕ¹

Наше знакомство с Николаем Николаевичем Асеевым началось с переписки, как это часто бывает между книжными людьми. Он прислал мне свою книгу в шестьдесят первом году «Зачем и кому нужна поэзия?» и попросил меня написать мое мнение по поводу одной части этой книги, где он говорит о начале русской поэзии. Он считал, что русская поэзия началась с громких молебствий, молитвословий на воздухе или под гулким куполом храма где-нибудь, в возглашении дьякона и так далее.

С моей точки зрения эта теория была неверна, но тем не менее она меня очень заинтересовала с точки зрения психологии самого Николая Николаевича. Он чувствовал поэзию как громко читаемую, — громко читаемую для большой аудитории, для массовой аудитории. Так же ее чувствовал Маяковский, так чувствовали многие.

¹ Стенограмма телевизионного выступления в фильме «Николай Асеев».

Я думаю, отчасти так же чувствовал Пушкин некоторые из своих стихов. «Полтаву», например, «Медный всадник» и так далее.

Вот в этом отношении его теория была очень интересна с моей точки зрения. Но я ему написал тогда, что нужно не забывать и о фольклоре и что в фольклоре есть тоже громкие такие жанры и, прежде всего, это заклинания, заклинания-заговоры. Некоторые заклинания произносятся шепотом, но они не интересны. Вот те, которые громко произносятся, в них замечательное чувство слова. Я удивляюсь, почему фольклористы сейчас совершенно не занимаются этим жанром. Ну, например, такой заговор: «Встань, встань, встань! Проснись! Пробудись!» Понимаете, даже в этом звуке «а», в этом слове «встань», была такая сила, что больной мог встать; это был какой-то психологический перелом, который мог наступить у больного, — это психотерапия своего рода. И если сейчас много занимаются траволечением, народной медициной, то напрасно забывают о том, что есть и психомедицина в народной медицине, вот этот заговор. И с этой точки зрения заговор тоже очень интересен. И вот почему: в поэзии ведь тоже есть психотерапия. Психотерапия очень важная, когда человек, настроиваясь стихами поэта, своими или чужими, стихами другого поэта, как-то в унисон, способен перенести очень большие и горести, и печали, и разлуку. Пропеть человеку, который находится в горести, веселую песню — это не значит его исцелить, наоборот, нужно в унисон как-то действовать.

Вот. А затем, однажды я был в Москве, у меня был какой-то перерыв в несколько часов, и я съездил к Николаю Николаевичу на Николину гору, где у него была дача, где он жил. Он меня очень гостеприимно принял. Но он оказался совсем другим, чем я его себе представлял. Он мне представлялся вот такой зенитной батареей с громким голосом. Мне казалось, что он дол-

жен встретить меня как-то громоподобно, а он встретил меня очень тихо и, угощая, я сейчас не помню, шоколадом, чаем, я приехал к нему внезапно, без предупреждения, и мы тогда поговорили о роли поэзии и близко с ним сошлись. Потом я уже у него бывал раза два или три, это было незадолго до его смерти, в его квартире на улице Горького. Переписка наша с ним была частично опубликована, некоторые письма куда-то исчезли у меня, но, во всяком случае, она была очень интересной, и поэзия Асеева стала для меня чрезвычайно близкой, потому что для того, чтобы понимать стихи поэта, нужно непременно поэта повидать. Если нельзя в домашних условиях, то нужно повидать его хотя бы в зрительном зале, в театре, там, где он выступает с чтением своих стихов. Я сейчас очень жалею, что упустил ряд возможностей. Я мог послушать Блока, мог послушать Маяковского, но мне все казалось, что я успею, а в жизни никогда не нужно думать, что успеешь, вот и сейчас не во всем успел.

Совсем неожиданным в свиданиях с Николаем Николаевичем было для меня то, что он преимущественно говорил не о своей поэзии, не о своих стихах,— он говорил о стихах молодежи, любил их читать, эти стихи. И по тому, как он читал эти стихи и что он ценил в стихах молодежи, мне становилась понятна поэзия его самого.

Я ленинградец, и я знаю, например, какое значение имел «Медный всадник» для ленинградцев. В периоды наводнений, допустим. Вот эти слова: «Твоей твердыни дым и гром». Когда к Петропавловской крепости подступали волны и казалось, что город осаждает море, что волны входят в город, бьются о стены крепости, и крепость отвечает пальбой. А пальбой крепость отвечала вот почему: тогда радио не было,— это в моем детстве,— я помню — пушки стреляли. На сколько футов поднималась вода, столько раз стреляла пушка. Значит, подни-

мается на 13 футов — 13 раз пушка бьет, на 14 футов — 14 раз. Иногда, если наводнение происходило быстро, то Петропавловская крепость была сплошной канонадой. И звук пушек я слушал в детстве из форточки: открывал форточку и слушал, сколько выстрелов, потому что мы жили в затопляемом районе. Значит, десять, двенадцать раз... Этот звук пушки доносился как-то закрыто, как какие-то шары вылетали: на «у», на «о», на «ы» — «дым» и «гром» — это как-то соответствовало стихам Пушкина. По всей поэме Пушкина «Медный всадник» была какая-то метафора, когда наводнение воспринималось как осада, как сражение, как осада города.

И вот наступил год, когда эта метафора Пушкина «наводнение — осада» превратилась в действительную осаду. Это был 42-й год. Когда немцы подошли — началась стрельба, началась настоящая пальба, и около Института русской литературы, где я работал тогда, так же как я работаю и сейчас, я там больше сорока лет работаю, поставили зенитную батарею. И эта зенитная батарея стала стрелять совсем по-другому, чем тогда стреляла при наводнении пушка. Она стреляла на «а», «ахала» по фашистским самолетам, она «ахала» на «а». И тогда мне вспомнились стихи Асеева, которые также помогали в осаде, как помогали стихи Пушкина при наводнении. Стихи следующие, они обращены к городу, к Ленинграду: «Это имя как гром и как град — Петербург, Петроград, Ленинград». Обратите внимание на этот переход от «у» — Петербург к «а» — Петроград, Ленинград. Это переход от звукового ощущения вот этой пушечной пальбы. Это разница между стрельбой тогда, при осаде города злыми волнами, и осаде фашистскими полчищами, когда батареи уже не на «у» палили и не на «о», а на «а» «ахали» по фашистам.

Эти стихи замечательны тем, что в них очень сконцентрированно дана как бы геральдическая схема развития Ленинграда: «Петербург, Петроград, Ленинград».

Это история города, это символ истории города. Эти стихи в этом отношении замечательны. И в период осады невольно повторялись эти стихи: «это имя как гром и как град», и действительно «град», потому что после выстрелов зенитных орудий, я был тогда на крыше, обычно дежурил, начинали сыпаться осколки снарядов от зенитных орудий. Это был град, они пробивали железную крышу нашего Пушкинского Дома и сыпались, как град. Таким образом, стихи Асеева тоже были каким-то заклинанием, в очень тяжелых обстоятельствах, вот эти строки. Ведь достаточно запомнить из поэта несколько строк, чтобы они имели вот это целительное, исцеляющее свойство, как заговор.

Я писал об этом потом Николаю Николаевичу, и он был очень рад. Писал я об этих стихах еще во время блокады в книжке «Оборона древнерусских городов», и так как у меня тогда не было сил посмотреть, я спутал эти стихи Николая Николаевича со стихами Маяковского, я написал, что это стихи Маяковского. Но он был очень доволен этим, это для него была похвала.

Для него по преимуществу важно было слово, даже независимо от фразы. Он любил в стихах слово в своем исконном значении. Недаром он так любил летопись. Летопись ведь очень лаконична по способу выражения своего. Там все слова без нюансов, впрямую обращены к зрителю. И для Асеева было характерно увлечение древнерусским словом, особенно «Словом о полку Игореве», летописями, затем — Державиным, в котором эта стихия тоже очень сильно дает себя чувствовать. Он любил стихи Радищева, в которых такое вот очень сильное слово отдельное. Может быть, это как раз и важно для чтения стихов на толпу, на народ, на слушателей, чтобы без обману, без нюансов слово было в своем основном, коренном значении. Такая линия в русской поэзии идет от Державина к Пушкину. У Некрасова она

очень сильно сказывается. Конечно, и у Велимира Хлебникова, и у Маяковского. И Асеев идет в этой линии...

Мы мало виделись с Николаем Николаевичем Асеевым, но много переписывались. И может быть, именно потому, что мы мало встречались, письма Н. Н. Асеева ко мне были особенно интересны. Они были отрешены от деловых забот повседневности и целиком посвящены языку, древней русской литературе, истокам русской поэзии. Иногда письма Николая Николаевича просились стать небольшими статьями. И все-таки я удивился, когда вместо ответа на одно из моих писем получил статью. Вместо привычного, иногда шутливого, обращения стояло название: «Родословная речи». Я ждал появления этой статьи в печати, предполагая все же, что она предназначена для широкого читателя. Но оказалось, что это только письмо: революция в эпистолярном жанре.

Родословные русской литературы были главным предметом нашей переписки: родословная русской литературы, родословная русской поэзии, родословная русской музыки и русской речи.

У Николая Николаевича было сильно развитое историческое отношение к окружающей его действительности. Чтобы понять любое явление современной ему культуры, ему надо было прежде всего понять его происхождение и историю. Тогда он чувствовал его конкретность, весомость, смысл.

Но не только это приковывало его внимание к истокам явлений. Истоки были для него самостоятельной культурной ценностью. Образ античного Антея, находившего силы в прикосновении к земле, был для него символом его собственной деятельности. Землей Антея были для него народный язык, фольклор, летописи, «Слово о полку Игореве» и многое другое.

Он удивлялся силе зерна, в котором концентрируется будущее, его плотности, сжатости, скрытым возможностям. Тяжелыми зернами были для него летописи, «Слово о полку Игореве», древние российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым. Он чувствовал себя равновозрастным русской культуре, и детство русской культуры соединялось в его сознании с его собственным детством, когда начинало прорастать его собственное поэтическое отношение к миру — как росток из зерна.

Дорогой Николай Николаевич!

С увлечением читаю Вашу книгу. Она не только интересна по мыслям, но и блестяще написана.

О стихе Киевской Руси — о проверке его на дыхание, на «возглашение» — Вы совершенно правы. Я это заметил на «Слове о п. Игореве». Оно рассчитано на произнесение вслух, а не на чтение. Но элементы устной речи сильны и во всякой иной прозе Киевской Руси. Особенно силен этот устный элемент в богослужебных текстах. От этого тексты эти и приближаются к стихам. Правда, Вы ошибаетесь резко в одном: за редкими исключениями молитвы не сочиняются на Руси (мне известно два случая — у Иллариона и у Владимира Мономаха), а пришли к нам из Болгарии.

Послал Вам свою книжку «Человек в литературе древней Руси». Пожалуйста, полистайте ее.

С искренним уважением к Вам Д. Лихачев.

Вашим упоминанием «Русских летописей» на стр. 24 горжусь.

15. V. 61

Москва, 24 мая, 1961

Драгоценный Дмитрий Сергеевич!

Драгоценный потому, что «дорогой» стало официальным, безразличным обращением, будь ли человек действительно дорог или того требуют обстоятельства. Спасибо Вам за письмо, за книгу, за надпись на книге. Она мне напомнила ту, что князь Мышкин сделал ради доказательства своей любви к почеркам давно вышедшим из обихода: «Игумен Пафнутий руку приложил». Тем более что и в книге Вашей этот игумен упоминается не раз.

Не доказывает ли это, что Достоевский знал и любил древнюю письменность? А есть ли об этом в воспоминаниях о Ф. М.? Но, однако, к делу. Наравне с радостью от получения Вашего доброго письма и замечательной книги, пришлось испытать и досадное ощущение от небрежной работы типографии. У Вас говорится о нарушении текстов переписчиками древних памятников. А что же сказать о ничем не оправдываемом разрушении текста типографскими работниками! Читаю книгу и вдруг со страницы 98 неожиданно перелетаю на страницу 113 из другой главы, ища продолжения чтения разорванного текста. А после 102 стр. вдруг находится 99-я. Кто виноват в такой путанице? Ведь это издание Академии наук СССР. Издание Пушкинского Дома! Что же — с Пушкина спрашивать, что ли? По-настоящему следовало бы требовать нового издания книги с упорядоченным расположением страниц. Вот справедливые претензии читателя, о которых следовало бы сказать редакции и типографскому начальству! Но это, понятно, не уменьшает достоинств как самого текста в его подлинном виде, так и замечательных иллюстраций к нему. О самой книге по существу. Я очень, очень рад, что нашел в Вашем лице ученого высшей квалификации, без зазнайства и

сухости, настоящего друга-ученого в отношении читателя; ученого, владеющего океаном сведений и не тонущего в этом океане собственной мыслью. Увлекательно передающего свои мысли вниманию читателя.

Я не могу ставить себя в ряд с Вашими сведениями по литературе. Но мне самому своим небольшим опытом и собственной интуицией приходилось добираться до выводов, сходных с Вашими, хотя бы трактовку положения литературы 17-го века. Я с восторгом прочел об изменении направления литературы этого времени, направлении целиком совпадающим с демократизацией литературы нашего времени, начавшейся перед революцией в первой четверти нашего столетия. Когда я думал об изменениях литературных направлений в эти годы, мне всегда верилось, что изменения эти не могли быть безродны и беспрецедентны. Я искал соответствия движения этой волны — от выпрненного символизма к земному стремлению выразить свое время. И вот теперь, прочтя главу 10-ую Вашей книги, я нашел подтверждение моим предчувствиям. Я говорю о замечательных смелых и новых определениях Вами демократической литературы. О том, что: «Для демократической литературы XVII в. характерен конфликт личности со средой», что в ней «развивается особый стиль изображения человека: стиль резко сниженный, нарочито буднично-утверждающий право всякого человека на общественное сочувствие».

Право же, это как будто не о семнадцатом веке написано, а в первой половине нашего столетия, когда Маяковский резко снизил, нарочито буднично заговорил о себе самом, как о человеке характерно восстающем против среды. Не только один Маяковский выражал это восстание, но ни в ком другом так явно и так несхоже ни с кем другим оно не выражено. Ведь именно Маяковского упрекали в «нарочитой вульгарности, грубости нового литературного языка, наполовину раз-

говорного», в «разъедающей иронии ко всему на свете, в том числе и к самому себе». Так и кажется, что Вы это поняли и декларировали научно. Коснусь своей ошибки с утверждением относительно перевода греческих текстов в молитвах. Конечно, Вы правы, но все же мне хочется думать, что например «Достойно», являясь частью литургии, могла быть и в греческом подлиннике, переведенном грамотными сподвижниками князя Киевского для возглашения на славянском языке. А ведь именно «Достойно» — схоже с началом «Слова о полку», построенному явно по единоначалию с «Достойно». Но не буду спорить, не имея доказательств. Желаю Вам всего-всего наилучшего. Ваш нелицемерный

Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Я очень огорчен путаницей страниц в книге, которую Вам послал. Это первый случай! — другие экземпляры были хорошие. Хотя в книге и вложен билетик контролера, — все равно кто-то снебрежничал. Я спрашивал в типографии — бывали ли случаи возвращения книги с этими билетиками? Оказывается, нет!

Относительно Пафнутия. Достоевский, видимо, разглядывал какой-то палеографической альбом, где этот Пафнутий (Боровский) был (кстати, недавно был поднят вопрос о сносе Пафн.-Боровского монастыря, но были протесты; вопрос еще не решен). Когда-то я знал — что это за альбом, но сейчас забыл.

«Достойно» — молитва, возникшая сравнительно поздно на Афоне. Это можно узнать. Но общий процесс начала стихотворства все равно, мне кажется, схвачен Вами удачно.

Очень, очень рад, что книга Вам понравилась.

Ваша книга нравится мне не только по содержанию, но и по языку: проза поэта — совсем особая проза (напр. у Бунина).

Будьте здоровы и счастливы. Желаю Вам самого хорошего летнего отдыха.

Искренне Ваш Д. Лихачев

27. V. 61

P. S. Кстати, о современности в исследованиях древнерусской литературы: посылаю Вам мою статью о литературном этикете древней Руси. Частично этикет в изображении человека (по его офиц. положению) затронут мною в книге.

Дорогой Николай Николаевич!

Очень рад был получить от Вас письмо с идеями, которые отчасти сходятся с моими.

Выскажу некоторые еретические исторические идеи. У нас долго абсолютизировали положительное значение централизованного государства. Сейчас от этого историки отходят, но медленно. Если для обороны сильное государство было необходимо, то для народа и народной культуры—это было большое зло. В период раздробленности нельзя было установить жестокой эксплуатации. Плохо у одного князя—перебежит крестьянин к другому. Тому были примеры. А в XVI в. бежать стало некуда—только на «украины», в казаки. И стали народ эксплуатировать как хотели, и обнищал народ, и пошли волнения, восстания, нищета, голод, изнурительные войны. Сколько грамот в новгородской земле в слоях XII—XV вв.! а в слое XVI в., кажется, только одна. Слой же XVI в. неповрежденный. И избы становятся хуже и меньше, и народное творчество беднеет,—труд-

но стало жить, не стало, значит, песен, не стало и грамотности.

Теперь о поэзии. Поэзия не только в стихотворстве. Поэзия и в живописи. В XIV—XV вв.— Андрей Рублев, Феофан Грек, потом Дионисий. Это наша, русская поэзия. Поэтические силы уходили сюда. Я не знаю, любите ли Вы древнерусскую живопись, но я ее очень люблю. В частности, я люблю бывать в Москве в Музее имени Андрея Рублева в б. Андрониковом монастыре. Там удивительные люди, которые замечательно умеют показать красоту древнерусской иконы: Наталия Алексеевна Демина и Ирина Александровна Иванова. Если Вы там еще не бывали, побывайте. Дом. тел. Наталии Алексеевны — Б-8-74-63. Они Вам будут рады необыкновенно. Гостеприимство для них источник радости. Нет для них ничего более радостного, чем привлечь к древнерусской живописи еще кого-нибудь, поделиться «находками» (какая-нибудь трогательная деталь, поэтический образ, верно найденная красота силуэта и пр. и пр.).

Так вот! Живопись в XVI в. тоже идет к упадку. И прежде всего из нее улетает поэзия (не так сказал! надо: «от нее отлетает поэзия»). Мастерство остается, красота красок, линий, появляется даже щегольство изяществом, мелкостью письма, а поэзии уже нет. Потом уходит и мастерство (в XVII в.). И тут дело в усилении государства.

Литература с самого начала была подчинена интересам государства. Расцветает летопись, степенные книги, хронографы, ораторство и пр., но нет поэзии, драмы, литературы в собственном смысле этого слова. «Слово о полку Иг.» и другие прекрасные памятники XI—XIV вв. (Повесть о Петре и Февронии Муромских) — это все феодальная раздробленность, отсутствие сильного полицейского государства. От того и дух чести, рыцарственность, поэтичность. Я очень ценю «Поучение» Владимира Мономаха (великолепный образец этической высоты

его письмо к Олегу), но Мономах — идеолог раздробленности (он строит все не на насилии, а на уговорах, убеждении, обращении к заветам христианства; его идеал — договоренность всех князей между собой, а не их подчинение одному).

Все это я пишу торопясь и комкая, но я думаю, что Вы найдете всему примеры и сами.

Если Вам такую книгу удастся издать, — это будет очень здорово.

Мой летний адрес: Зеленогорск Ленинградской области, Лиственная 16-а, дача 93.

Кстати, балет я люблю, но не думаю, что государство всегда может способствовать его расцвету. Поэзия из него улетает.

Будьте здоровы. Хорошенько отдохните летом. Спасибо Вам за письма — они очень интересны, как и все у Вас.

Искренне Ваш Д. Лихачев

15. VI. 61

Зеленогорск, 29. VI. 61.

Дорогой Николай Николаевич!

«Происхождение стиха от звучащего, не писанного слова». В этом Вы, как мне кажется (я тоже этим вопросом специально не занимался), совершенно правы. Пиисец явно проверял текст на слух — и летописец, и автор «Слова». Об этом я пишу в статье о подлинности «Слова», которая находится в сборнике «Слово о полку Игореве» — памятник XII в.». Сборник этот сейчас в издательстве АН и выйдет в начале 62 года. Устная стихия в «Слове» постоянно дает себя знать — в обращениях к читателям, как к слушателям, и в самой ритмике речи.

Больше того, пунктуационная система древнерусских рукописей ясно предназначена для того, чтобы помогать читателю произносить вслух (точки посередине строки ставятся там, где чтец должен сделать паузу). Об этом писал Л. А. Творогов (у него есть статья «Как был открыт стихотворный размер «Слова о полку Игореве», напечатанная в... «Псковской правде», — не могу Вам здесь на даче дать более точную справку). Но слово звучащее было не только в молитвах. Оно звучало в различного рода «речах» и в простой разговорной, напевной речи. Молитвы под гулками сводами церковей имели, конечно, очень большое значение, но не только они. Кстати, если говорить о церковных текстах, то непременно вспомните Псалтирь. Она очень ритмична и ее часто цитировали в литературных произведениях, она оказала громадное воздействие на русскую литературу не только ритмикой, но и образной системой, символами-метафорами и др.

Кстати, с болгарского на славяно-русский язык не переводили (Вы, вероятно, обмолвились в письме): древнеболгарский язык и был русским литературным языком. В него только исподволь вносились русизмы.

«Не красоту любят, а — сан!» Это замечательно сказано. Но, все же, побывайте в Музее имени Рублева.

От души желаю Вам хорошенько отдохнуть летом. Желаю полного успеха в работе над Вашей книгой.

Ваши письма получаю, очень радуюсь им.

Искренне Ваш Д. Лихачев

Дорогой и глубокочтимый Дмитрий Сергеевич!

Пишу в страшной спешке: готовимся к переезду в город и плохо можется самому. Но, прочитав Вашу подъя-

емную книжку о «Слове», не удержусь от ответа по горячему следу. Боюсь только, что из-за спешки и нездоровья не сумею достаточно ясно говорить об очень сложном впечатлении от книги. Во-первых, замечательно то, что книга вышла приличным тиражом, значит, будет прочитана не только специалистами литературоведов, а и любознательным читателем и любознательности этой будет полезна. Во-вторых (а может быть, это во-первых), потому, что в Вашем труде Вы поднимаете такие глубинные вопросы, как о близости произносимого художественного слова с его тенью, печатным воспроизведением. Прекрасно наблюдение о двуединости темы «Слова». Прекрасное суждение о «Слове» и древнерусском искусстве. Да и все остальное на подъеме достаточно значительном, чтобы оторваться от обычных сухих шлепанцев в академических туфлях. Так что Ваша надпись на книге несправедлива и нескромна, поскольку смирение бывает паче гордости. Но вот в чем дело. Меня всегда удивляло, как это никто из «Слово»-ведов не обращает внимание на явную полемичность вступления к «Слову». Ведь это же ясно без особых доказательств, что речь идет об отстаивании какой-то иной формы повествования, чем бывшая до этого времени. И при всем почтении к Бояну, слышны упреки в разбросанности и временной и сюжетной, бывшей особенностью «соловья древнего времени». А вот автор или авторы «Слова» ограничивают себя и временем и местом действия, вернее не действия, а событий. Я пытался об этом заявлять в печати, но никто не обратил на это внимания, очевидно из-за моей малой научной авторитетности. А я полагал, что большие сведущие ученые мое замечание опровергнут или подтвердят его правильность. Но это мимоходом. А вот уж совсем мне кажется недоступной моему ощущению рассуждение о ритмичности памятника. Это, мне кажется, традиционное впадение в символическое перенесение качества одной группы яв-

лений на другую. Ведь что такое ритмическое качество? Что такое ритм? Повторение движения, создаваемое сердечным ли или механическим мотором. Говорят — ритм или аритмичность сердцебиения, ритмическая гимнастика, ритм узорного орнамента. Как это перенести на слово, я не представляю. Думается, что действует здесь традиционное понятие — нарушение метра в стихе. Но ведь это может быть мерилом только в метрическом размере! А как же ощутим ритм вне музыкального его значения? Вне отсчета долей звучания, половины, четверти, восьмой, шестнадцатой?

Когда мне довелось впервые прочесть начало поэмы Маяковского «Человек», написанное без соблюдения строчных ограничений, я долго думал — зачем он это сделал? Позже только мне стало понятно, что несоблюдение «порядка» стихотворных строк есть несоблюдение порядка стихотворных размеров, т. е. ритмического однообразия. Дальше мне стало еще более понятным, что только этим нарушением, несоблюдением порядка строк и ритмического однообразия и движется и развивается поэтическое искусство. И в «Слове о полку» я целиком нашел подтверждение моей догадки. Древний автор уже знал об этом — о необходимости нарушать движение повествования, если хочешь, чтобы оно осталось жить на долгие века. Это можно понять, но овладеть этим искусством — нарушать движение слова вместе с наплывом радости или горести, печали или гнева — дано очень немногим поэтам. Блок в «Двенадцати» достиг этого нарушения законов стихотворного повтора, Пушкин и Лермонтов, Баратынский и Шеншин в большей или меньшей степени и понимали и владели этим даром. Что же это за стих? Стих не ритмический, не размерно повторный, а стих, зависящий от взволнованности автора создаваемым произведением. Это и есть стих народный, «дышащий» весельем или гневом, удачью или унынием. К нему подходил Пушкин много раз, останавливае-

мый невозможностью перескочить барьер размеров, еще только недавно введенных в русский стих. Но написал ведь «Сват Иван, как пить мы станем...», сказку о медведице, Разинские песни. И наконец, он раз и навсегда закрепил право поэта дышать стихом, а не писать стихи. «Зачем кружится ветер в овраге? Зачем орел угрюм и страшен?» «Зачем арапа своего младая любит Дездемона?» Все это необъяснимо с точки зрения точной науки. Но вполне объяснимо, если понять, что вдохновение и есть размеренное чувством дыхание. Тогда и станут явны следы его, потом изучаемые и отсчитываемые на ритмы, размеры, метафоры, анаколумы. Однако это будут только следы. Не знаю, сумел ли я достаточно грамотно выразить свои мысли. Но мне верится, что Вы их примете без предвзятого чувства. Мне дорого «Слово» тем же чувствуемым в нем дыханием веков. Вот что я хотел Вам сказать, не откладывая в долгий ящик.

Искренне Ваш Николай Асеев

19 октября 1961

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Доканчиваю вчерашнее письмо, крайне разбросанное и поспешное, так как хотелось сразу по прочтении Вашей книги ответить. Дописываю некоторые, пожалуй что, непонятные замечания. Во-первых, о Маяковском и «Слове». Когда я читал вступление к поэме «Человек» — я сразу же почувствовал родственность этого начала какому-то большому эпическому, что ли, произведению, которое должно начинаться именно так торжественно возгласно. «Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов — солнца ладонь на голове моей. Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на плечах

моих...» и тут же мне пришло на память вступление к «Слову о полку Игореве». «Не лепо ли ны бяше братие начати старыми словесы трудные повести о полку Игореве, Игоря Святославича...» Да, конечно же это возгласение, обращение к слушателям, к слуху, а не к глазам читателя и в том и в другом случае. Но, кроме того, сходство обращений заключалось в их вызывающей полемичности. Там против способов Бояна художественно растекаться белкой по древу, т. е. не сосредоточиваться на одном повествовательном эпизоде. Здесь же полемичность отрывка уже в самом его противопоставлении обычным способам лирико-эпического повествования. Это литургисание в светском словесном искусстве — уже само по себе полемично, брошено как вызов прежним обычным способам лирико-эпических произведений. Ну вот то, что я хотел добавить; не знаю только, поясняет ли достаточно это мою мысль о перекличке в веках двух поэтов. Еще надо сказать насчет пушкинского отрывка. «Зачем... ветр; зачем орел, зачем Дездемона?» А для того, чтобы окончательно подтвердить этими примерами то, что «ни ветру, ни орлу, ни сердцу девы — нет закона». Таков поэт. Конечно, здесь речь не о каком ином законе, кроме того, который прикладывают к так называемому ритму стиха и который есть на самом деле дыхание стиха, не поддающееся ни учету, ни измерению, если это живое дыхание, а не наигранное. Понятно — и Вам, дорогой Дмитрий Сергеевич, то, что я пытался здесь сказать? Живое дыхание, живое движение мысли и чувства не подвластно никакому закону ни размера, ни ритма. И во всяком случае они не зависят от воли даже автора, который каждый раз сам наверное удивлен, как это оно у него получилось.

Ответьте мне, прошу Вас.

Ник. Асеев

Дорогой и глубокоуважаемый Николай Николаевич!

Пожалуйста, простите меня, что задержался с ответом. У меня было одно душевное беспокойство, которое очень мешало мне сосредоточиться для ответа Вам. Я очень плохо себя душевно чувствую, когда должен по внешним обстоятельствам спешить с какой-либо работой. Я сам всегда спешу, но когда спешишь сам — это совсем другое, чем когда тебя противно торопят обстоятельства.

Ваши письма о ритме я перечитывал много раз. Сперва я не понял, а когда понял, то мне стало казаться, что я сам всегда так думал! Вот что значит верная мысль. А мысль Ваша особенно верна в отношении Слова. Мне кажется, что в том, что Вы говорите, и его разгадка связи ритма с поэтическим смыслом произведения. Я писал о том, что ритм в Слове создается синтаксисом, но теперь я думаю, после Ваших писем, что я тогда хотел сказать совсем другое — то, что говорите Вы. Эти письма для меня очень драгоценны, и я буду думать над тем, что Вы в них пишете.

Теперь о близком к этому. В конце сентября я был в Польше на очень интересной конференции по поэтике. Там я был в Варшавском университете на лекции Романа Осиповича Якобсона о церковнославянской поэзии. Я привез сюда магнитофонную запись этой лекции. У вас есть дома магнитофон, который мог бы работать на 9,5 оборотах? Р. О. высказал очень близкие Вам мысли и с большой похвалой отзывался о Вашей книге «Зачем и кому нужна поэзия» и процитировал из нее как раз то место, где Вы говорите о начале поэзии из церковных возгласий. Его лекция была призывом изучать церковные песнопения как основу древнейшей русской поэзии. Он говорил о начале церковнославянского стиха у Кирилла (Константина) (Проглас, Азбучная молитва), о различных рецепциях этого стихотворства у чехов, по-

ляков («Богородица»), сербов и русских. Вы знаете, что на эту тему он пишет с 1917 года. Кстати, он превосходный оратор (я его слушал много раз — в Москве, Софии и Варшаве). Читал он церковнославянские тексты прекрасно и многих увлек.

У меня к Вам вопрос, которому не удивляйтесь. Вы знаете, что мы в Пушкинском Доме издаем сугубо ученые и м. б. скучные «Труды Отдела древнерусской литературы», которые тем не менее специалисты очень ценят во всем мире (это сборники по 50 п. л., выходящие раз в год). Не согласились ли бы Вы написать для нас, для этих Трудов о своем отношении к древней литературе (к Слову, к Аввакуму и пр.). О том, что дала Вам или может дать современному писателю древняя русская литература. Это не должно быть ученое сочинение — этого бы мы и не хотели от Вас. Пусть то, что Вы напишете, будет импрессионистично и субъективно. Именно это нас и интересовало бы. Напишите о чем хотите, как хотите и сколько хотите. После Вас мы обратились бы и к некоторым другим писателям, а Вы бы у нас начали эту серию статей, очерков или писем. Серия эта была бы для нас очень важна и интересна во многих отношениях. Но начать ее мы хотели бы Вашими соображениями, размышлениями или воспоминаниями — как хотите. Подумайте, пожалуйста; мы Вас ничем не стесним и не ограничим.

Желаю Вам всего самого хорошего.

Искренне Ваш Д. Лихачев

4. XI. 61

Поздравляю Вас с наступающим праздником.

Москва. 8 ноября, 1961

Дорогой и чтимый мною Дмитрий Сергеевич!

Чтимый не только «чествуемый», но и читаемый мною. Ваше письмо, которого я заждался и уже стал побаиваться, как разгромного за мои домыслы о вдохновении — единственной мере стиха, и ободрило и одобрило меня. Видите, как от простой перемены местами двух звуков меняется оттенок смысла «ободрило — одобрило». И потому сейчас же кинулся отвечать Вам. Не знаю, пригодится ли мое наспех набросанное замечание о родословной речи для Пушкинского Дома; оно может остаться и просто письмом к Вам. Но вот что я думал бы дать для указанного Вами сборника. Это отдельные строфы из моей «Поэтической истории», которую я по-немногу пишу. Например, как Вам приглянутся следующие строфы:

В городе стих начинался с виршей,
вылился в оду и в мадригал;
изустный же — подбирался Киршей
Даниловым, — сосланным на Урал.

Стих при дворе был приятным, полезным
чувств верноподданнических плод;
а на Урале — стих был железным,
пламенным от огневых работ.

Там был стих, как живое слово, —
не лампадка у царских икон,
там был стих — кумача обнова,
не из польско-немецких сукон!

Там Пугачу отливались пушки,
стих ни пред кем там не гнулся дугой;
о таком и говаривал Пушкин,
как о речи простой и нагой.

Вот что я думал отдать Пушкинскому Дому. Только следовало бы в отрывке этом переставить строфы вторую на первую, и наоборот. Посылаю Вам и это как письмо. Отвечайте мне, прошу Вас; мне Ваши письма точно коню хлыст. Будьте здоровы и сильны, как и до сих пор.

Ваш Ник. Асеев

Родословная речи

Когда я был еще мальчуганом, я любил читать вслух Гоголя «Вечера на хуторе». У меня был звонкий голос, очевидно, выработалась хорошая дикция и артикуляция, и меня священник в нашем реальном училище назначил читать «Часослов» в училищной церкви перед вечерней службой. Не скажу, чтобы это доставило мне удовольствие, но полусумрак в церкви, озаренной лишь редкими огоньками свеч кое-где перед иконами, эхо, отдающееся в пустом церковном помещении, все это создавало какое-то романтическое настроение. И, читая часослов, я невольно вникал в смысл полужнакомых звуков славянского языка и похожего на русский и отличного от него во многом. «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бежу?» Как будто — и схоже с обычными словами и отлично от них. «Камо грядеши?» ведь это название романа Сенкевича. А бежать ведь и бегать — не одно и то же значение. И именно в простонародном говоре сохранилось это отличительное свойство глагола. Мальчишки никогда не говорили «убегу», а всегда «убежу». Так сохранялась старинная форма звучания глагола. Читая часослов, я заметил, что периоды его разделены удобно для произношения на части, равные дыханию; они никогда не прерывают своего размера до выдоха. Это было достаточно ясно из практики чтения вслух. Так впервые я понял, что деление на периоды читаемого вслух предусмотрено сочинителями часослова.

Я сызмала не верил в бога, хотя немного побаивался нечистого. Однако мне очень нравились праздничные образы: — рождественские колядованья, трепетные огоньки в бумажных фонариках, несомых свечек со «страстей» в четверг предпасхальной недели. И, наконец, сам праздник Воскресения, со вставанием среди весенней полуночи, когда так хочется еще поспать, с посещением пасхальной заутрени, где торжественность всеобщего христосованья для мальчишек постарше уже носила и соблазнительную возможность поцеловать нравящуюся тебе девчонку, с битьем крашенных яиц, с разговореньем после поста, соблюдавшегося старшими и обязательного потому для младших. Все это вносило оживление в сухие каноны и правила религии. И все это сопровождалось словами, запоминаемыми с детства, как, например, «друг друга обьемем», «красота душевная», «крылья духа», которые из религиозных образов входили в обиход обычной речи. И все эти «ибо», «вотще», «подле» — также сбживались в говоре, не отличаясь от остальных слов.

Чтение часослова нравилось мне еще тем, что похожие звучания речи все же отличались от звукоочетаний обычной разговорной. Язык, как будто бы и знакомый, требовал узнавания смысла под оболочкой несколько непривычной. Так мне впервые привито было распознавание значения слов не только по внешнему, но и по внутреннему их смыслу. А это и было поэтическим языком.

Подрощи, я искал дальнейшего применения своей обозначившейся способности и приверженности к распознаванию смысла слов не только в обиходном, потребительском их значении, но и первоначальном, корневом, которое часто забывается и оставляется без внимания. А именно в славянском звучании выступает основной смысловой корень слова. Например, в слове «нельзя» совершенно исчезло его первоначальное значе-

ние — не лезь, не нападай, не задирай. А между тем в летописях это именно значение выявляется в том, что тот или иной князь «налез со своими полки» на другого. Или в слове «кресь» — огонь — совершенно не ощущается его дальнейшее применение в названии праздника, а затем и просто дня недели в слове воскресение. А ведь смысл этот перешел через границы двух вер: и той, при которой люди праздновали появление огня — в солнце ли или открытии его в земном трении двух древесных сучьев. Так далеко и давно заходит значение словесных смыслов, не ощущаемых в обычной речи! Поэтому-то я, уже присмотревшийся к славянским словам, зачастую несущим в себе это скрытое значение, это семечко проросшего в современную почву слова, обратился к летописям, ища в них богатства значений слов и звучаний, не поддающихся простому языковому исследованию. И я был вознагражден за свои поиски. Множество речений открылось мне в забытых страницах хартий. Я понял смыслы как будто неразгадываемых слов. Что значит, например, слово «мелкий»? Не от крошащегося ли мела произошли они? А что значит слово «кровь»? Не от сокровенности ли его значения произошло оно?! А что значит «плоть», что значит «гореть», что значит «святой»? Не от пылания ли, не от подымания ли вверх, не от света ли произошли эти слова? «Плоть — пылать», недоверчиво скажете вы? «Гореть — подыматься ввысь»? «Святой», как светлый, как светоносный? А не домысел ли это поэтического воображения?! Нет, это домысел наших предков, создававших эти слова. Поэтому «плоть — пылает», а «тело — тлеет». Поэтому «гореть» от «гора». «Горе имеем сердца», возглашает торжественно литургисающий. А что это значит? Возгоримся сердцами, вознесемся вверх, как возносится горящий дым. А как же объяснить одинаково звучащее — «горе»? А разве горе не возвышает человека духовно? Горе и гора одного корня. Много слов можно было бы

привести в пример; но это было бы уже целое исследование, для чего у писателя нет ни достаточно знаний, ни специально отданного времени. Но вот Пушкин. «Отцы пустынноики и жены непорочны...» Почему же умиляет Пушкина именно эта, на вдох и выдох размеренная, молитва великого поста? Да именно потому, что в ней ясно чувствуется та поэзия, которая, оснащая возглас силой призыва, силой веры, сообщает ему особое звучание. Это великолепное религиозное стихотворение: «Господи, владыка живота моего»... тронуло Пушкина своей удивительной простотой, соединенной в размерность вдохновения. Уныние, праздность отвергаются в этом призыве. А праздность здесь вовсе не празднование чего-либо, а лень. И вот подите ж вошло это словечко рядом с уже существующим понятием лени. Да, значение слов не всегда нами принимается во внимание. Отсюда ошибки в их применении, замена одних другими, небрежность в их выборе. «Ищем речи точной и нагой» (Маяковский). А разве не Пушкин еще раньше сетовал, что «прелесть нагой простоты нам еще непонятна». А разве еще раньше не Лейбниц писал о том, чтобы понимать точное, т. е. корневое, значение слов: «Понимайте значение слов, и мир будет избавлен от множества ошибок».

Но мы часто еще не до конца распознаем происхождение слова. И небрежность в этом отношении не дает нам полностью овладеть речью и литературной и разговорной.

То, что подразумевается под вдохновением, то есть размерность речи, не всегда еще гарантирует ее поэтическое первородство. Об этом замечательно написал Баратынский:

Глупцы не чужды вдохновенья;
Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:

Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.

Глупость не различает значения слова. То или иное схожее по смыслу не все ли равно! Вот это-то и лишает силы художественную речь, отказывающуюся от своей обязанности быть «точной и нагой», от речи, в которой мы не только в стихах, но и в прозе гоняемся за обветшалыми украшениями, «поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем» (Пушкин).

Вот это сходство высказываний двух наших замечательнейших поэтов и заставляет меня обратить внимание на обязательность изучения родословной языка, к летописям и памятникам давнего периода литературы, собранию древних российских стихотворений Кирши Данилова. А ведь на это мало обращают внимания в наших словесных вузах, уж я не говорю про школьное обучение. «Славянщина!» — презрительно скажут многие. И это презрительно-небрежное отношение отзовется потом незнанием родного языка у взрослых. Не усвоивши его начал, его первичного значения, никогда не дойдут до речи точной и нагой, до понимания смысла слов, отчего можно было бы избежать множества ошибок. Ошибок не только в обиходной, но и в литературной речи.

Ник. Асеев

1961. XI. 7

Дорогой Николай Николаевич!

Завтра заседание Сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, и я перед докладом прочту и Ваш превосходный отрывок из «Поэтической истории», и Вашу «Родословную речи».

Это будет хорошее начало для наших публикаций этого рода. Спасибо, спасибо и спасибо. Все, что Вы пишете, верно и метко. Это как раз то, что мы хотели.

А мне в древней литературе нравится еще необыкновенный лаконизм и простота (особенно в летописи и у Афанасия Никитина): «И приспе осень, и помяну Олег конь свой, иже бе поставиль кормити и не вседати на нь...»

«И тут есть Индейскаа страна, и люди ходять нагы все, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косы плетены, а все ходят брюхаты, дети родять на всякий год, а детей у них много, а мужы и жены все черны: язъ хожу куды, ино за мною людей много, дивятся белому человеку».

Разве не прелесть? Пишет — без всяких дум о слове, а слова все верные, точные — и о самом главном.

А какие сюжеты? Ерш Ершович, Повесть о Басарге, Петр и Феврония. Во всем это не выучка, а природная грация — от родителей, что ли. К чему древнерусский человек ни прикоснется — все красиво. Ложку топором выстругает — и та красавица. Волшебник. Ведь и говорили, верно, так, что заслушаешься. Даже грамоты деловые писали как ладно — и образно: «свеча чтобы не угасла» (это князь пишет духовную и боится, что род его прекратится), «куда топор и соха не ходили» (это о землях, куда еще не проник человек) и пр. Будьте здоровы.

Искренне и всегда Ваш Д. Лихачев

13. XI. 61

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Тронут вниманием, с которым Вы относитесь к моим поискам начал стихов. Боюсь, что в Пушкинском Доме маститые стиховеды отнесутся к ним не так доброжелательно. Я никогда не имел дела с учеными славистами, кроме Вас и Р. Якобсона, который тоже смотрел на меня ободряющим взглядом. Однако Томашевский, например, как-то сказал, что он запретил бы студентам слушать мои домыслы. Боюсь, что они, эти домыслы, могут показаться ересью и другим строгим ценителям установившихся теорий стиха.

Но сейчас дело не во мне. Я очень хочу, чтобы Вы взяли шефство над очень талантливым поэтом-ленинградцем, замечательно понимающим значение и роль летописного искусства, которое он бережно переносит в практику своих стихов. Переносит не стилизуя, не подделываясь под тогдашний строй речи, но проникая в нее со всей чуткостью поэта. Чтобы характеризовать его творческую особенность, приведу только один абзац его недавнего письма ко мне.

...«Странно — когда я сажусь за современные стихи я фантазирую; когда сажусь за исторические — вижу все до того реально, до того зримо, что хочется оттолкнуться от летящей стрелы».

Согласитесь, что так и в художественном произведении не напишет так четко, даст такой образ, каким Виктор Александрович Соснора — так его мимоходом обмолвливается в простом письме. И вот он вынужден работать слесарем на одном из заводов Ленинграда, стуча молотком по зубилу, хотя он на это и не жалуется. Однако для стихов это не подмога. Он молод, только недавно пришел с военного обучения, пишет очень много, но напечататься для него почти «не показано». Все редакции берутся за голову, — дескать, куда нам стихи тематикой 1111 года! Наконец я пробил стену и

добился принятия его тысячи строк в издательстве Совпис в Ленинграде. Но чего мне это стоило! Там сидит редактором некто Авраменко, личность загадочная по своим успехам на литературном поприще. Стихи у него поддельные под Полонского, но без вкуса и цвета. Но он их издает во множестве — какая ему ворожит бабушка, неизвестно. Он было совсем отрицательно отнесся к стихам Сосноры и только после усиленного нажима на главную редакцию в Москве, нехотя и медля согласился подписать договор на маленькую книжечку. А Соснора живет трудно и не жалуется никому, кроме как своим стихам, иногда приобретающим грустные оттенки. Ему необходима сильная рука, поддерживавшая бы его историзм в стихах. Поэтому-то я и рекомендую его Вам, не как подражателя, а как открывателя совмещения в стихе древнего с сегодняшним, вводящим в словарь темы древности смелые говорные термины и интонации, вроде слов «завихренья», «роба», «взъерепенились», «барахло», «халупы», от которых должны прийти в ужас пунктуальные славоведы, как не свойственных древней лексике. А именно в том-то и прелесть этих стихов, что они звучат сразу и по-славянски и по-русски, по-современному и по-давнему. Я посылаю Вам на пробу одно из таких стихотворений, в котором не только есть и вкус и цвет «об он пол времен», но и любовь к языку, не формальная, а живая, речевая, современная, несмотря на то, что тема древнейшая. Не знаю, совпадает ли Ваше мнение в данном случае с моим, но очень хотелось бы, чтобы Вас затронуло это несомненное, недюжинное дарование. На всякий случай посылаю адрес Виктора Александровича Сосноры: Ленинград, ул. Куйбышева, д. 21, кв. 35. Очень жду Вашего ответа по этому поводу.

Искренне Ваш. Ник. Асеев

1961. 25 ноября

Между реками, яругами, лесами,
 Переполненными лисами, лосями,—
 Сани, сани, сани, сани, сани, сани.
 Наступают неустанно россияне.

Под порошей — пни, коренья нетелесны.
 Рассекают завихренья
 Нити лезвий.

На дружинниках меха —
 Баранья роба.
 На санях щиты поставлены
 На ребра.

Шустро плещутся плащи
 По перелескам.
 Даже блески снеговые
 В перелеске.

От полозьев —
 Только полосы на насте.
 Как бояре взъерепенились
 На князя:

— Ты, Владимир-Мономах,
 Мужик — не промах.
 Ты казну и барахло
 Оставил дома.
 Ты заставил нас покинуть жен, халупы,
 Обрядить свою холопину
 В тулупы.
 Где ж добыча, князь?
 Мороз-то — не охнуть.
 Все в сугробах половецких
 Передохнем!

Разъярился Мономах:

— Чего разнылись.
 Разве сани не резвы
 И не резные.
 Разве сабли не заточены
 На шеях.

Так чего же вы разнюнились,
Кощеи.
Не озябли вы, бояре,
Не устали.
Вам давненько по ноздрям
Не попадало.

Тяжела у Мономаха
Шапка — ярость.
Покрутив заледенелыми носами,
Замолчали пристыженные бояре.

Между реками, яругами, лесами
Снова —
Сани, сани, сани, сани, сани, сани.
Наступают неустанно россияне.

Дорогой Николай Николаевич!

Ваша телеграмма меня очень пристыдила, но и... породила чувство тайной гордости: значит, мои письма нужны!

Причина моего молчания самая обыденная: я хворал и с высокой температурой должен был выступать оппонентом. Я не хотел сорвать защиты, готовился к выступлению с головной болью, плохо что-нибудь понимая, а потом так обрадовался, что можно отдохнуть, что просто лежал два дня и смотрел в потолок, поеживаясь от безделья. А встал — и все снова завертелось, ведь конец года, работы сотрудников моего сектора древнерусской литературы надо прочесть, дать им оценку и свои работы надо отдать. Очень это скучное время — конец года.

Стихи В. А. Сосноры мне понравились: в них что-то поет, и он чувствует эпоху не по-оперному. Непременно напишу ему, чтобы повидаться, как только полегчает с казенной работой.

Я Вам писал уже, кажется, что Якобсон с большой

похвалой отзывался о Вашей книге «Зачем и кому нужна поэзия» на лекции в Варшавском университете? У меня есть магнитофонная запись этой лекции.

Будьте здоровы (это пожелание от человека хворого и знающего цену здоровью).

Еще раз прошу Вас очень простить меня.

Искренне Ваш Д. Лихачев

21. XII. 61

1961. Декабрь 23. Москва

Дмитрий Сергеевич!

Фу! Слава тебе, боже, Аполлоне! А я ведь побаивался, что Вам не понравились стихи Сосноры и, значит, вслед за этим, и я сам потерял у Вас кредитоспособность вкуса!

Однако лучше было бы, чтобы Вы не болея молчали. И вдвое лучше, что Вы, переболев, выздоровели и снова я получил от Вас почерком написанное, что говорит о возможности владеть рукой и словом без ограничения. Спасибо. Так Вы говорите, стихи Сосноры не оскорбили Вашего тончайшего слуха, в котором гулы тысячелетий могут быть нарушены дерзким голосом молодого современника, слесаря Ленинградского завода, бросившегося в поток времен?! Я всегда поражаюсь зоркости Пушкинского молодого глаза, который мог так пронизать время:

Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья.

И вот вдруг появляется ленинградский паренек, так же легко прогуливающийся по временам, как обезьяна по ветвям дерева. Это меня и удивляет и трогает. По-

моему, нет никого из современных стихотворцев, кто бы хоть на вершок был ближе к поэзии, чем мой Соснора. Правда, он очень хрупок, незащищен от бурь и морозов жизни; но он упрям в своей погоне за словом, и оно ему часто дается в руки. Так вот — «времен от вечной темноты...» Соснора неожиданно является свидетелем того, что только намечено в документах древности. Я уверен, что Вам было бы интересно встретиться с ним. Он недавно только женился на «восклицательном знаке», как он шутя определяет свою подругу. Его адрес: Ленинград 46, Куйбышева, д. 21, кв. 35. Зовут Виктор Александрович. Попросите его показать Вам стихи: «Битва с Редедей», «Бегство князя Игоря из плена», «Разговор Кончака с Гзой», да и другие, хотя указанные — в первую очередь. Они как бы впереди других, по-моему. Но и современные стихи превосходны. В особенности поэма «Рубеж». Это совершенно самостоятельный, уже определившийся голос, со своей интонацией, со своими тембрами. И вот никак я не могу представить читателю полностью. Насилу добился, чтобы напечатали тысячу строк. Да и то еще тянут. Вот все пока.

Вы пишете, что Якобсон упоминал о моей книге в Варшаве? А я ему только что послал ее в Кембридж. Как же так он не сообщил мне о себе?! Буду ждать ответа. Еще раз спасибо Вам за то, что выздоровели.

Искренне и душевно Ваш Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Сейчас написал Сосноре предложение сделать поэтическое переложение «Слова о полку Игореве» для базы Библиотеки поэта. Я там буду редактором этого выпуска.

Если он согласится, — помогите ему, пожалуйста, со-

ветами и указаниями. Переводов «Слова» много, но выдающихся почти нет.

Очень хотелось бы, чтобы «Ладу» дали Ленинскую премию.

Будьте здоровы.

Всегда Ваш Д. Лихачев

15. I. 62

Москва. 17 января 1962

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я очень рад, что Вы заинтересовались творчеством В. А. Сосноры. Думаю, что оно попадет в отличные руки Вашего редакторства. Только, мне кажется, вряд ли было бы плодотворно обязать его дать точные, последовательные переложения памятника. Все попытки переводов «Слова» производят жалостное впечатление сонаты, попробованной одним пальцем к проигрыванию. На этот счет у меня даже было столкновение с одним обидчивым переводчиком, пытавшимся воспроизвести суровую красоту оригинала посредством облегченных средств. Я не говорю уже об ужасах со стихотворными искажениями подлинника! Соснора первый, кто без формальной точности, но с удивительным чувством строя языка приблизил к читателю великое «Слово». Причем он вовсе не следует за всем развертыванием свитка времени, угадывая самые его значительные эпизоды. Такие, как, например,— бегство Игоря, разговор Кончаковны с Гзой и другие. Особенно это ясно в эпизоде битвы Мстислава с Редедей, о которой в самом «Слове» сказано-то всего две фразы. А Соснора воспроизводит самую битву с удивительной экспресси-

ей и красочностью. Так что, если издавать все это, то, мне кажется, было бы правильней только как «Эпизоды» «Слова», вместе с самим подлинником, иллюстрируя, так сказать, стихами сегодняшнего поэта. Как Вы думаете на этот счет? Если еще красочными виньетками того же стиля, хорошего художника? А впрочем — Вам виднее.

Крепко жму руку

Ник. Асеев

Москва 1962. 29 января

Драгоценный Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваши письма с отзывами о Сосноре. Вы, конечно, правы, как и всегда в делах такого рода: Соснору надо бы показать в свете «Слова о полку», но переводчиком его представить я не могу. Это все равно что птицу за ногу привязать и пытаться управлять ее полетом. Прелесть сосноровских «перефантазирования» именно в том, что он не повторяет подлинника, а — на влюбленности в подлинник — продолжает видеть воображением его запредельные картины. Такова, например, битва Всеслава с Редедей, о которой в «Слове» всего две строки сказано. А у Сосноры эта битва живет перед глазами с тончайшей характеристикой участников и обстоятельств. Какой же это перевод! То же самое и с разговором между Гзой и Кончаком о молодом Игоревиче; то же — с главой о скоморохах в Киеве, с описанием бегства Игоря и т. д. Не все равноценно, но все удивительно видимо. Так вот — нельзя ли бы к «Слову» прибавить в качестве иллюстраций (словесных) эти эпизоды из стихов Сосноры, как показ влияния летописи на современного поэта! Ведь не было

еще во всей нашей поэзии такого перевоплощения. Поэтому я и думаю, что Ваше безупречное знание первоисточников не смутится перед вторжением памятника древнейшей нашей поэзии в современный век. Обосновать такое дополнение к изданию «Слова» можно и должно именно нестареющей силой поэтического влияния. А это было бы здорово хорошо, что современный молодой поэт — продолжает великолепную живописность и силу старинного памятника. Как вам это мое рассуждение?

Теперь о другом. То есть не о другом, а о том же с другой стороны. Ведь список «Слова» стал известен без разделения не только на фразы, но даже и на слова. Не следует ли из этого, что переписчик руководствовался тем существовавшим убеждением, что слова будут произносимы в таком порядке и в такой интонации, которая будет подсказана самим произношением их, т. е. рассчитаны на дыхание при произнесении. Иначе зачем бы было сливать все слова в строку? Ведь не из экономии же места это было сделано? Жду ответа от Вас.

Я получил последнее Ваше краткое послание из Москвы. Обрадовался, думал — уж не в Москве ли Вы сами? Потом понял, что письмо отправлено из Москвы кем-то по Вашему поручению.

Дмитрий Сергеевич! У Вас наверное есть домашний телефон. Не доверили бы его мне, чтобы иногда переводить письмо на живой обмен. Я же обязуюсь не звонить попусту и не беспокоить Вас зря.

Мне прислал А. Горелов длинное письмо о «Кирше Данилове». А я не знаю, что ему ответить, — до того мне чуждо кропотливое исследование, вместо живого ощущения памятника. Не важно мне, какой Куракин упомянут у Кирши. Важно, что именно Куракин говорит: «Изопьем-ка вина, то прибудет ума»: А Куракин был

отец «казенного вина». Вот что мне бросилось в глаза.
А какой именно Куракин, не столь важно...

До свидания, хотя бы в письме!

Любящий Вас Ник. Асеев

КНИЖНАЯ МУДРОСТЬ

Совершенно иной вариант красоты —
чем какой она виделась нынешним людям —
и другие стремленья, желанья, мечты
мы тогда ощущать и испытывать будем.

Мы, но это уж будут не мы, а — они,
что по-новому будут глядеть и трудиться...
Сотню лет лишь, не более, повремени,
и ты сможешь по-новому переродиться!

Будут жизнь как невесту носить на руках,
будут жить по веселым и легким законам;
станут сказки рассказывать на облаках:
Змей-Горыныч — в забеге с Китайским Драконом.

А пока еще
в морду грозят кулаком,
нож и пуля играют в кровавые сцены,
я останусь таким же, как все, дураком,
не поверившим в близкие перемены.

Ведь пока я на нынешнем свете живу
и пока мое сердце о ребра гранится,
я грядущее вижу не наяву,
а оттиснутым бледно на книжной странице.

1962. 4 февраля

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Посылаю Вам свое самое свежее стихотворение,
первым читателем которого я хочу видеть Вас. Что это?
Или уныние, — но уныния нет и помину: меня везде

хвалят, пресса устроила вокруг меня чуть ли не дежурство, как возле тяжело больного; я должен бы выглядеть бодрячком, а я задумываюсь над тем, о чем никто не говорит. Но именно потому я и должен над этим задумываться! Иначе грош цена всем похвалам и мне самому. Вряд ли напечатают это стихотворение в журналах. Но я должен писать не только для редакций. А как дойти без них до читателя? Вот я и дохожу до Вас, одного из немногих, мнение которых я ценю.

Ник. Асеев

13. II. 62

Дорогой Николай Николаевич!

Ваши последние стихи, которые Вы мне прислали, отражают настроения очень многих. Они «резонируют». Но они вовсе не пессимистичны, как Вы думаете. Пессимизм — это равнодушие. Взяточник, который берет взятки, чтобы лопать, покупать хрусталь на сервант, «шиться» у модного портного, ходить в ресторан, — вот это гогочущий пессимист. А человек, которому грустно от того, что нет правды и много лицемерия, — это не пессимист. У Ключевского есть очень хорошая статья «Грусть». Ее, конечно, не включили в нынешнее собрание его сочинений. Если не помните ее, — посмотрите. Я за грусть и за тоску — за самые человеческие из человеческих чувств. За Ваши стихи.

А в общем у нашей эпохи есть, конечно, своя Лизавета, даже много Лизавет. И своя укладка, заложенная под камень на Вознесенском проспекте.

Звонил Соснора. Голос у него приятный. Я пригласил его почитать свои стихи у нас в Секторе древнерусской литературы. Сейчас он едет в отпуск — в Пушкинские Горы, а по возвращении почитает.

Вчера сдал в издательство рукопись своей «Текстологии», над которой работал несколько лет. Получилась очень пухлая книга (37 п. л.). Потом выпущу в сокращенном виде — нечто вроде учебника или руководства листа на 4—5. Но без полной книги нельзя сделать сокращенную.

«Болею» за Вас. Мы, литературоведы, профессиональные болельщики. М. б. поэтому к нам никто и не относится всерьез.

Будьте здоровы и счастливы, и немножко грустны.

Всегда Ваш, любящий Вас Д. Лихачев

Дорогой и высокочтимый Дмитрий Сергеевич!

Не осудите некоторую высокопарность этого обращения. Но Вы и в самом деле высоко стоите в моем мнении о Вас, как о человеке и ученом. Ведь соединение в одном лице и познаний и чувств создают действительное почитание такого, редкостного соединения. Оно наблюдалось в Павлове и в Сеченове, в Лобачевском и в Ленине. Когда встречаешь его в человеке тебе знакомом, то радуешься, что не один он, оказывается, на свете и в былом; что и сейчас при тебе есть люди того же толка и значения, еще не оформившегося в людском понимании масс. Почему я это пишу? Потому, что я предчувствую, каким вкладом в науку будет Ваша «Текстология». Потому, что Ваша чуткость и опытность к пониманию слова должны создать не учебник, а учение. Такими учениями о языке были книги Потебни — «Мысль и Язык», «Грамматика», «Синтаксис», которые теперь бы оченьгодились молодежи, не умеющей управлять предложением, не заботящейся о точности выражения. Но Вы мне написали такое доброе письмо, что я и впрямь поверил в свои права иногда разгрузиться. Как это хорошо Вы говорите о пессимизме —

«жрущих и пьющих», норовящих одеться у модного портного, заставить хрусталем свой сервант! Нет, Вы ученый не только с именем, но и с душевной зоркостью, с человеческим гордым полетом мысли. Непреклонным и независимым.

Почему Вы не пришлете мне номера Вашего телефона? Я бы иногда (не часто) все же имел возможность перемолвливаться с Вами живым голосом, а не машинной стучкописью.

Я рад, что голос Сосноры Вам пришелся по душе. У него, по моим приметам, очень трудно на душе. Пишет он сейчас стихи современные; они хороши, но очень грустны: сплошь Иеремиады! Ему бы очень помогло Ваше участие, хотя бы слухом. Он очень скромн и вместе с тем заносчив внутренне. Но человекен. И талантлив. Не знаю, «зачем и кому нужна поэзия», — но она «пресволочнейшая штукавина: существует — и ни в зуб ногой!». Пожалуйста, пришлите телефон и время, когда он не будет мешать работать.

Искренний и дружелюбный Ваш Ник. Асеев

1962. 20 февраля

Москва. 2 марта 1962

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Перечел от доски до доски Вашу книгу о «Слове»; удивился еще раз Вашему пониманию, Вашему ощущению памятника. Сгорчился своим невежеством относительно всего, что связано с его познанием. Вы замечательно говорите о многоритменности «Слова», о его, так сказать, полифоничности, обязательно следую-

щей за содержанием повести. Вы абсолютно правы, говоря, что все попытки переложить ритмы памятника на современное стихосложение обязательно терпят неудачи, поскольку авторы переводов в стихах втискивают в размеры то, что не является размерным, равномерным, искусственно созданным. Мое понятие «вдохновения», то есть зависимость построения фразы, предложения, строфы от полноценного дыхательного запаса, необходимого не для чтения глазами, а для передачи слуху смысла произведения. Ведь сохранившийся позднейший список «Слова», как мне помнится, был без разделения не только фраз, но и отдельных слов?! Значит ли это, что список был безграмотен? А не говорит ли это о том, что в обиходе было разделять возгласы на полнозвучие, в зависимости от дыхательного, произносительного аппарата! Ведь тогда не было множества читателей глазами, а было множество слушателей. Теперь о переводах и стихотворных да и прозаических. Мне думается, что все они безнадежные попытки приблизить «Слово» к его первооснове. В самом деле, начать хотя бы с первых абзацев строф. Что ни слово, то нет уверенности в правильности истолкования. «Не лепо ли ны». Что означает это выражение? «Лепо» — наречие ли это глагола «лепить» — украшать. Ведь «лепость», «лепота» — это синонимы красоты. Но глупо было бы переводить: «Не красиво ли было бы нам, братие...» Может быть — «не следовало бы нам, братцы», так как будто по-русски сравнительно правильно; но тогда произвольное толкование выражения «не лепо ли»! «Не красно ли»? Нет, не то. Не достойно ли нам? Опять-таки произвольное расширительное толкование выражения подлинника. Я нарочно не взял в руки сейчас имеющихся переводов, чтобы быть независимым в своем суждении. «Начати трудные повести...» Что за слово трудные: печальные, тяжелые, горькие? Все три значения подходят, но не передают силы эпитета, при-

мененного автором «Слова». В подлиннике имеются значения всех указанных вместе, но не отдельно каждого из них. Вот и надо думать, как же все-таки и точность смысла соблюсти и не раздробить смысл на частные значения. «Начати старыми словесы». Какое значение придано в подлиннике этому выражению? Старыми словами? Старыми средствами выражения? Старыми в смысле привычными? Скорее всего подходило бы значение общности слов, то есть средств выразительности. Но тогда опять-таки уход от прямого значения слова «старые». А принимая во внимание явную полемичность авторов «Слова» со «старыми словесы», то есть с художественными средствами выражения, применяемыми Бояном Вещим, совсем иными оттенками светит это введение в повествование. Так-то вот обстоит дело с первых же строк толкования значения слов подлинника. Как же можно перелагать его на язык современья, не повредив ткани словесного тончайшего орнамента?! Вот поэтому я за то, что лучше уж «фантазировать» на эту тему, чем пытаться воспроизвести подлинник средствами иных времен иного, хотя и сродного, языка. Именно близость звучания того или иного слова может ввести в заблуждение. А такое искреннее заблуждение может сказаться и на понимании самого «Слова». Но это все мои домыслы. Вам они должны быть если не убедительны, то понятны. Вы сами пишете о неудачности подвести ритм «Слова» под какой-нибудь размер или комбинацию размеров. И поэтому мне гораздо дороже приводимые Вами толкования профессора Н. В. Шарлеманя удивительного совпадения звучания голосов птиц и зверей с их начертанием. Гораздо дороже, чем попытки перевести слова древнего памятника на общерусский, да к тому же еще не точный язык. Поэтому же мне гораздо более близки попытки Сосноры «перифантазировать», а не перевести «Слово». Дорогой Дмитрий Сергеевич! Я знаю Ваш телефон,

но не рискую надоедать Вам звонками, ценя Ваш покой и время. Если же Вы захотели бы услышать мой голос, возьмите инициативу на себя. Мой телефон в Москве: Б-9-87-38. Но только если Вам действительно придет охота. Крепко, крепко жму Вам руку.

Ваш искренний Николай Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Сегодня первый день, как я оправляюсь от страшной усталости.

Мы были в Карловых Варах. Там была неприятная погода: то дождь, то снег, то ветер. Все это менялось по четыре раза в день и действовало на нервы, утомляло. А под конец мы с женой выбрались на 5 дней в Прагу. В Праге внезапно оказалась летняя жара (28° в тени), и мы все ходили, ходили, ходили. Нельзя было насмотреться на этот сказочный город. Прага необыкновенна. Нас водили очень хорошие знатоки города и необыкновенно интересные люди. Особенно понравился мне один — доктор Мареш, он занимается церковнославянским языком, рукописями, кольцоет птиц, стреляет из лука (победил в этот день чемпиона мира) и состоит в добровольной пожарной дружине в маленьком городке Бенешове, где он родился. И все это от души, все это он любит. Мы расстались с ним друзьями самыми близкими. Выехал я из Праги счастливый, но едва живой от усталости и от возобновившейся язвы. В Москве почувствовал себя плохо. В Ленинграде страдал от язвенных болей и очень много готовился к совещанию по древнерусской литературе. Совещание у нас было с 22 по 26 мая. Вчера оно кончилось. Я поехал на дачу. Сажу на балконе и пишу. Вечер хорош, тихий, и море (оно видно из окон) совсем светлое и тихое. Но хворает внучка (у меня две дочери, обе замужем, мы

живем вместе — 7 человек), и я ее жалею. Язвенные боли улеглись.

А вообще-то усталость и язвенные боли сопровождают меня всю жизнь. Все не так, как хотелось бы пожить: без спешки, работать над любимой темой, грести по вечерам и смотреть на воду, на волны. Хотел завести себе такой магнитофон, чтобы записать пение птиц и шум прибоя. Вместо того — купил себе пластинки «Голоса птиц в природе» и вот теперь послал их Марешу в Прагу. Ищу эту пластинку, — но ее уже нет в продаже.

А Якобсон все-таки очень живой человек и хороший пропагандист русской культуры, древнерусской тоже. Издал он кондакарь и стихирарь, псковский разговорник начала XVII в. (только что вышел). О «Прогласе» Константина — Кирилла добуду Вам даже в Ленинграде библиографическую справку. Прочсть его надо. А если буду у Вас в Москве, то захвачу с собой магнитофонную ленту с лекцией Якобсона о церковнославянской поэзии. Оратор он вдохновенный, кажется — в манере Белого. Чуть театральный.

Мечтаю сейчас написать крошечную книжку «Русской литературе тысяча лет». Но время для этого будет не скоро.

Будьте здоровы, отдыхайте.

Искренне Ваш Д. Лихачев

27.V.62

А Соснора хороший!

Дорогой и дражайший Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваше прелестное письмо с Марешем, Прагой, морем и Якобсоном. Оно было бы совершенно прекрасно, если бы не опечалило меня сообщением о Вашей болезни. Это почти как личное горе. На себе я испытывал в течение 30 лет влияние каверны в верхней части левого легкого. Я боролся с ней всевозможными средствами: и пневмотораксом, и парааминовой кислотой, и фтивазидом. В общем, я столько вогнал в себя химии, что, справясь кое-как с каверной, получил взамен бронхоэктаз, одышку, перебои сердца и недостаточность ощущения жизненной энергии. Но это все как-то заменяется энергией ощущения слова, его дыхания, его многозначности. Все это я пишу Вам, чтобы Вы, кто сам не меньше чувствует слово, поняли и свою и мою болезнь, для которых одно лишь лечение — работа над словом. Да Вы и сами все это знаете, и мои рассуждения могут Вам показаться ненужными. Но все же я ими поделюсь с Вами. Хотя бы в расчете на то, что и Вы расскажете о себе более распространенно. А то ведь я питаюсь слухами о Вас. Слухами, правда, только одобрительными, так как иных я и слушать бы не стал.

Рад я, что Вам пришелся Соснора по душе...

Ну, вот расшумелся я, без всякого толку. Уж куда тут о поэзии, когда речь идет о космическом пространстве! Простите, что докучаю Вам, но Вы для меня то же, что для Вас Мареш: и ученый и человек.

Как бы мне Вас увидеть?! Ведь наше эпистолярное знакомство, при всей его необходимости, не полно без личного. Привет Вашей семье, состоящей по Вашему подсчету из семи персон. А не одного ли это начала слов «семь я»? Ну это я уж до помешательства дохожу в

звучании слов. До свиданья, до живого свиданья. А может быть, «семья» — от «семена»? Семя, семья. Но и тогда число 7 к месту. Пришлю Вам маленькую книжечку, приложение к «Огоньку». Там две обложки: одна с фото, а другая со стихами, служащими упаковкой для стихов 42, 43 годов. Они «самые мои».

Любящий Вас Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Одна моя знакомая сказала, что, глядя на литературоведов, она перестала верить в воспитательную силу литературы. Я думаю другое: развивается иммунитет к этике и эстетике при длительных занятиях литературой. И происходит притяжение однородных явлений... А может быть, тут и другое (это особенно касается писателей): люди так черпают из себя, что остаются опустошенными до дна. Это я все думаю над Вашим письмом! А потом нельзя болтать. Чтобы почувствовать слово, надо много молчать.

27 июня я буду в Москве. У меня в Отделении литературы и языка будет доклад по текстологии. В один из последующих дней я постараюсь сбежать с заседания и приеду к Вам в Николину гору (позвоню сперва по телефону). Можно? Только предупреждаю: я совсем не такой, каким Вы представляете. Я воспитан в годы, когда люди мало общались друг с другом. Я не умею сближаться и с людьми чувствую себя неловко. Встречи с Вами я боюсь, боюсь за эти свои качества.

Будьте здоровы. С нетерпением буду ждать страшной встречи.

Искренне Ваш Д. Лихачев

11.VI.62

Дорогой Николай Николаевич!

Не написал Вам сразу, так как дома застал жену в болезни: спазмы головных сосудов. Сейчас все прошло.

От Сосноры получил письмо. Он действительно поступает на философский факультет. Говорит (вернее, пишет), что собирался заниматься психологией и только потом выяснил, что психология на философском факультете вовсе не психология... Думает, что, сдав экзамены, перейдет на исторический заниматься древней Русью. Я его в письме выругал, что он решает вопросы, крайне для него важные, не посоветовавшись со знающими людьми. на историческом факультете древней Русью заниматься нельзя — нет хороших преподавателей.

Николина Гора, Ваш дом и сад меня совершенно очаровали. В райском уголке Вы живете. И природа русская, а не чухонская, как здесь. Какая дорога к Вам милая. Хоть я и редко бываю под Москвой, но сразу чувствую себя там как дома: родные места, пейзаж обжитой, и обжит он русскими тысячу лет. Шофер довез меня очень быстро до гостиницы, и я успел побывать всюду, где полагалось.

А Вы очень милый — тоже родной. И моя обычная стеснительность при вас обоих с меня немного слетела.

Будьте оба здоровы, веселы, упрямы в работе.

О дороге, написав, что она милая, должен добавить: и слегка испорченная выкрашенными масляной краской медведями, оленями и козлятами. Где элементарный вкус?

Человек по природе своей должен быть интеллигентен и образован, обладать вкусом, знаниями и умом. С людьми неинтеллигентными я чувствую себя как в психиатрической лечебнице: это болезнь (невежество,

отсутствие вкуса, необразованность). Я и сам в этом смысле не совсем здоров, но я хоть осознаю это, а обычно футболисты думают, что именно они воплощение здоровья и «нормального», «здорового» смысла, правильно во всем разбираются и могут судить о поэзии и живописи, украшать дороги крашеными козлятами...

Привет Вашей супруге.

Всегда Ваш Д. Лихачев

Николина гора. 15 июля

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я очень был недоволен собой после нашей мимолетной с Вами встречи. Во-первых, я был в полном беспорядке по здоровью, небритости и неодетости, т. е. оде-тости во что попало, как бывает с больными стариками, перестающими заботиться о внешности. Но больше того — я остался недоволен тем, что ничего я не сумел рассказать о себе и оставил впечатление разболтанного в прямом и в переносном смысле человека. А ведь были задуманы разговоры и о языке, и о стихе, в которых (разговорах) я думал укрепить Ваше мнение обо мне, как о человеке по-настоящему ценящему и любящему слово. А вместо этого — рассказал два наигрыша частушки, слышанных случайно от своего шофера. Это — от застенчивости и неуверенности в своих силах. Я боялся говорить о языке, о словах, смысловых корнях, как например «гореть», «горе», «горький», «горячий», а рядом с ними — «гора», «горевать» и т. д. Ведь корень-то у них общий. Мало того — «гореть» ведь это — высоко реять, взвиваться вверх, а «го» в таких словах, как «гордый», «государь» (высокий судья); а гордый (высокородный) и т. д. Не значит ли, что существует свой смысловой строй в отдельных звуках, их соединениях.

Но это не приставки и надставки, а еще не обнаруженные зависимости звучания от смысла. Вот что я не сказал Вам, отчасти от волнения, отчасти от застенчивости. Но — «бумага все стерпит», и я высказываю еретически-филологические свои замечания. Во всяком случае, они мне очень помогают в выборе выразительных средств в стихе. Я рад, что Вам пришлись по душе подмосковные наши места; а медведей и оленей из цемента забудьте. Хуже, что у меня слова из цемента были при разговоре с Вами. Считайте встречу не состоявшейся, как было бы желательно, и по краткости и по недосказанности. В письме, оказывается, легче говорить, не ежась от опасения, что скажешь не то. И обязательно — не то скажешь! Не судите об мне по речам, а судите — по стихам, когда они удаются.

Искренне Вас ценящий и любящий Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Вы даже расстроили меня своим письмом. Значит, Вы подумали, что для меня основное костюм, мундир на человеке, его способность сразу овладевать положением и пр.? Я был убежден, что за нашим беглым разговором был подтекст.

Когда я читал лекции в университете, мне всегда легче было читать о том, чем я серьезно не занимался. А встречаться мне было всегда легче с теми, с кем у меня меньше было общего. А разговаривать о любимом мне было совсем трудно, даже с очень близкими товарищами. Легче всего сохранять с окружающими дистанцию шуток (как будто бы есть и близость, даже разговор, а вместе с тем шутка и не впускает собеседника в какие-то закрома души, но и на эту «артиллерийскую наводку» нужно время. Времени у нас не было).

Но я от встречи с Вами получил очень многое. Те-

перь я по-другому читаю Ваши стихи. Ваши стихи для меня обрели Вашу интонацию, я слышу Ваш голос, Вашу душевность. И портреты Ваши ожили. Ведь фотография схватывает в человеке одно мгновение. Не знаешь — опустятся ли дальше уголки рта или поднимутся в улыбке, не знаешь, в каком ритме человек живет. Ваше лицо, манера держаться, движения, манера говорить — все это очень соответствует Вашим стихам. Либо стихи Вас подчинили, либо Вы их очень подчинили себе. Все это для меня огромные открытия. И то, что я Вас увидел не за столом президиума, — очень меня радует.

Не наговорил ли я глупостей?

Ну, теперь немного о себе. Лето плохое, очень здесь холодное. Только сейчас цветет жасмин. Ветер с моря, сырой, с дождями. По утрам я хожу купаться и выхожу на берег в макинтоше, накинутом на голое тело, чтобы не одеваться под дождем. Финское небо, Финский залив, финский ветер, живем в старом финском доме, который скучает по своим хозяевам, а нас считает чужими. Остается читать корректуры, редактировать чужие работы, радоваться чужим успехам.

Почти не чужие — успехи Сосноры. Книжечка его хороша. Только бы не застыл в своей манере. Его книжечка — пока только фотография, запечатлевшая сотые доли секунды. Пока еще у него нет поэтической биографии; немного поэтому за него страшно.

Привет Вашей супруге. Всегда Ваш. Не перечитываю своего письма, а то не пошлю его.

Д. Лихачев

8.VIII.62

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Простите меня за неуклюжее предыдущее письмо. Оно было написано под впечатлением своей неудачи, которую я подозревал в отношении Вас ко мне. Я был очень не в форме по здоровью и по настроению, и тут-то как раз удалось, наконец-то, увидеть Вас воочию. Ваш ответ на мои подозрения в моей неудаче пристыдил меня и еще раз показал, какую ценность имеет для меня знакомство с Вами. Да, на «наводку» нужно время в разговоре, а у нас его не было. Потому, может быть, у меня впечатление первое как от «по усам текло, а в рот не попало». Но Вы с Вашим настоящим человеческим чувством поддержали во мне мое человеческое чувство, и я не стыжусь ни костюма, ни своей небрежности при нашей встрече.

Жаль, что у Вас лето скользкое от дождей и бессолнечности. А жасмин все-таки цвел, хуже и с опозданием. Почему только «радоваться чужим успехам»? Разве у Вас своих мало? Вы первый знаток живой древней речи, и не только знаток — и истолкователь ее. Как же Вам не радоваться тому, чему радуются в Вас Ваши друзья? А я осмелюсь считать себя таким. Нет, к Вам это не пойдет: «Чужая даль вокруг». Даль у Вас родная во времени. Скажите мне, как Вы относитесь к Вандриесу и его мыслям о языке? Я подарил его книгу кому-то из поэтов и теперь очень жалею. У него замечательно о жизни языка, который мертвеет от заученных фраз и оживает от глубоководных ключей, как река подо льдом. Книжка Сосноры не так хороша, как хотелось. Понапихали в нее «производительности» слова ради и отяжелили. Но 6—7 стихов — хороши.

Ваш Ник. Асеев

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Почему от Вас давно нет известий? Может быть, что-нибудь у Вас неприятное, отчего бывает не до переписки? Или я, может быть, как-то Вам не показался таким, как был сперва? А может быть и такое, когда нет охоты писать об уже сказанном и закрепленном в представлении. Как бы то ни было, но я обеспокоен Вашим молчанием. Соснора сообщил мне, что Вы поддерживаете издание его новой книги перед из-вом Советская Россия. Я со своей стороны написал директору из-ва о значительности такого издания, еще не пробившего скорлупу малоизвестности поэта. Сегодня напечатана моя статья о поэзии звучащей и молчащей. Правда, в органе не очень многотиражном, но все-таки претендующем на «Литературу и жизнь». Взяли стихи, не печатавшиеся много лет: о том, почему люди не любят своих неподкупных поэтов. И о проклятии войне.

К ним присоединил еще внове написанное: «Оправдали расстрелянных». Его могу прислать Вам, если захотите и найдете время свободное от собственных забот. Но все это в том случае, если Вы мне ответите хотя бы коротко, что у Вас у самого? Искренне и дружески к Вам расположенный.

Николай Асеев

Москва. 1962. 2 ноября

Дорогой по-настоящему, а не из вежливости
Дмитрий Сергеевич!

Я и рад, что получил от Вас весточку, и опечален Вашим несчастьем с дочерью. Я чувствовал, что у Вас что-то не добро, не ладно, и тер. лся в догадках. Так оно и есть: с близким человеком несчастье. Не буду

писать жалких сожалений и сочувствий. Они только растрavляют горечь переживаемого. Я повторяю, что главной причиной Вашего замолкания я считал какое-то неприятное событие в Вашей жизни. И потому не «стыдить», как Вы пишете, хотел Вас, а, скорее, разрешить тревожное ощущение, какой-то беды с Вами. Теперь это оказалось подтвержденным, а лучше бы не оказывалось. Я живу в полжизни. На даче было неважно, а в городе еще неважнее, потому что неизвестно, в чем дело. Доктора надоели с их требованием постоянных анализов и исследований, а слабость с каждым днем и с каждой ночью дает себя знать все сильнее. Химию я отверг, потому что, помогая в одном, разрушающе действует в другом направлении. Легкие меньше дают о себе знать, зато сердце ни к черту: на десять ударов — два пропуска пульса. Совсем уже не выхожу из комнат, дышу при посредстве форточки, хорошо еще, что не кислородной подушки. Вообще-то говоря, мои предки наделили меня слабосильным, но выносливым телом; но личными усилиями я его полуразрушил, не считаясь с длительным процессом в легких, залечивая, а потом снова возобновляя по азартности и непоследовательности поведения. Однако 73. Это уже многовато, нечего жаловаться. Хотя только-только начал по-настоящему ощущать жизнь безо всякой выдумки о ней, зато думами (не «выдумками»). Единственное лекарство, оказывается, это — стихописание и статьеписание, чем я и занимаюсь неустанно. В «Литературе и жизни» были не стихи, а статья, которую Вам посылаю. А еще прилагаю «Памятку»¹, о которой Вы слышали (см. на обороте). Ну вот и все, что смогу сообщить вкратце. Обнимаю Вас душевно. Ваш искренне

Николай Асеев

1962. 9 ноября.

¹ Первый вариант стихотворения «Разгоняются тучи». (Ред.)

Дорогой Николай Николаевич!

Получил от Сосноры пачку его стихов. Понравилось. Есть свое!

Видите: Вашу просьбу выполняю, хоть и медленно. Молюсь за «Лад!» (и еще за Фаворского).

Ваш Д. Лихачев

25.1.63

1.II.63

Дорогой Николай Николаевич!

Получил Вашу книгу и сразу же прочел ее. Она — как глоток свежего воздуха среди той литературоведческой духоты, в которую я погружен по своим обязанностям.

Всегда поражаюсь, как точно Вы умеете сказать. «Грубя и самоотрекаясь» — о Маяковском. Это ведь весь Маяковский, если вдуматься. Повторять Вас не буду. Даже и то, что у Вас повторено из старой книги («Зачем и кому...»), все равно было хорошо прочесть. Спасибо. Отдохнул.

Прибытие Вашей книжки совпало с другой важной для меня новостью: рентген показал, что Вере лучше и язва у нее зарубцовывается. А было у нее положение очень тяжелое.

А я написал статью в «Вопросы литературы» о том, кому и зачем нужны памятники старой культуры, и о том, что культура не бывает старой. Читаете ли Вы «Вопросы литературы»? Они там не дают оттисков, и я на этот журнал не подписан, — поэтому не знаю, когда смогу выслать Вам эту статью. Выйдет она в номере третьем.

Зима у нас классическая, редкая. Иней необыкновенной величины. Бывает и солнце. Но видеть всю эту красоту у меня почти нет времени. Зачем и кому нужна эта суета? Как можно было бы хорошо жить без нее. И люди были бы добрее.

Привет и поклон Ксении Михайловне.

Всегда и во всем Ваш Д. Лихачев

Берегите себя.

8 февраля 1963

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Посылаю Вам свои последние стихи из написанных в прошлом, как в далеком, так и в близком. Первое 62 года, а два остальных — 1942¹. Двадцать лет пролежали, пока не дождалась храброго редактора, рискнувшего напечатать эти стихи. Но и они мне теперь кажутся недостаточно сильными, у меня потерян вкус к стихам и чужим и своим. Это, наверное, от болезни, которая опять забрала меня в лапы. Что же сильно? — «Когда над смертными умолкнет шумный день!»! Еще — «Однажды странствуя среди долины дикой, Внезапно был объят я скорбию великой...» Да еще и еще. Хотя бы Хлебниковское: «Годы, воды и народы — все уходит навсегда, как текучая вода. В зыбком зеркале природы — небо невод, рыбы — мы; боги — призраки из тьмы». Может быть, это от настроения, а может быть, от недостатка Пушкиных и Хлебниковых.

Скажите, пожалуйста, помните ли Вы книгу Жана

¹ Речь идет о стихотворениях, опубликованных в журнале «Москва», 1963, № 1 («Разгоняются тучи», «Проклятие войне», «Портреты»). (Ред.)

Вандриеса о языке? Там у него есть замечательное уподобление обновления языка — биению донных ключей со дна реки, без чего река бы замерзла до дна и прекратила свое существование. Точно так же и язык без обновления слов и понятий, становящихся стертыми медяками, мертвеет и постепенно становится языком прошлого. Мертвым языком. Его можно читать, но нельзя говорить. Об этом за двадцать лет до Вандриеса сказал Маяковский. Напишите мне что-нибудь.

13.II.63

Дорогой Николай Николаевич!

Большое спасибо Вам за чудные стихи и за письмо. Два крайних стихотворения — «Оправдали расстрелянных» (это название лучше, чем «Разгоняются тучи») и «Зачем вы не любите, люди» — захватывают своей темой, и я их отчетливо слышу в Вашем чтении (сразу вспомнил Ваш голос и увидел Вас — Вы мне их читали). Сама мысль, заложенная в них, поднимает ритм, рифмы, образы, слова, как волна поднимает спиной игрушечные кораблики.

А темы пушкинских и хлебниковских стихов, которые Вам сейчас нравятся, меня всегда очень волновали, особенно в юности. Смерть казалась мне такой же загадкой, как и жизнь. Преодолеть смерть — к этому стремятся все. Одни — глупо... другие — умно, путем самоотдачи, саморастворения в стихах, в творчестве.

Помню, года три тому назад меня поразило одно болгарское стихотворение. Приблизительно передам его тему.

В Люксембургском саду сторож звонит в колокольчик: детям пора уходить. Вечер. Но меня там нет.

В Неаполе вечер. Тихо. Клубится Везувий. Влюбленные целуются в лодке. Но меня там нет.

И еще вспоминает поэт несколько хороших мест, где его нет.

А заключается стихотворение так: когда же меня не будет ни там, ни тут — в Софии, это будет смерть!

Сперва это стихотворение поразило меня своей простотой, простором и мудростью отношения к смерти. Оно мне чрезвычайно понравилось. Теперь мне хочется с ним спорить. Подумайте, ведь если для него его родная София, его семья, близкие — все равно что Люксембургский сад с его сторожами, — значит, он уже умер, уже ко всему безразличен.

Мало ли где нас нет — нам нужно наше, нужны наши близкие, какие бы они ни были, а роскошный Люксембургский сад нам не нужен.

Мы все уйдем не из мира, в котором мы составляем миллиардную часть, а из своей семьи и даже... от своих вещей, из своей квартиры. Насколько выше Есенин, который именно об этом сказал, отказываясь от рая.

Вот разболтался и зря. Ну, что написано, то написано.

Приглашают во Францию в город Тур (в центре Франции). М. б. поеду туда, в этот Люксембургский сад, на две недели. Пусть я там буду.

И все-таки выше поэзии нет ничего.

Привет большой Ксении Михайловне.

Всегда Ваш Д. Лихачев

16.II.63

Дорогой, милый Николай Николаевич!

Пишу Вам экстренное, деловое письмо. В ближайшие дни в Москву на собственные скудные средства приедут два молодых патриота — наш ленинградский

поэт и ученый Вячеслав Андреевич Шошин и петрозаводский фольклорист доцент тамошнего университета Дмитрий Михайлович Балашов. Они приедут, чтобы собрать подписи под письмом о положении с памятниками русской культуры. Их сейчас на Севере начали уничтожать в массовом порядке. В Петрозаводске составили список на сожжение 116 церквей — в том числе и тех, которые находятся под охраной государства. Делается что-то страшное.

Пожалуйста, подпишитесь под этим воплем и уговорите кого можете из писателей поставить свои подписи. Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли заранее позвонить тем, кого Вы считаете достойными вступить за русскую старину. Они не могут терять ни часа, так как средства их очень ограничены да и с работы они сбежали, чтобы спасти то, что могут. Вам они предварительно позвонят.

Если здоровье позволит Вам, — взгляните на них — какие они хорошие. Пусть они к Вам на минутку зайдут.

Я все боялся, что скоро некому будет и заступаться за памятники русской культуры. Нет, они дороги нашей молодежи. Нужны.

Привет Ксении Михайловне.

Всегда Ваш Д. Лихачев

18.III.63

Дорогой Николай Николаевич!

Не писал Вам Аридовы веки. После моего последнего письма к Вам у меня успели хирурги вынуть 2/3 желудка, часть двенадцатиперстной кишки и пр. А Соснора из хвалимых поэтов перешел в более зрелую стадию — поэтов критикуемых!

Сейчас я первый день дома. Заживление идет хорошо. Последнее, мрачное письмо Вам писал под влиянием уже начавшегося язвенного кровотечения. Я не знал о кровотечении, но на сознание недостаток крови действовал, отсюда мысли о смерти. Не сердитесь на меня за то письмо.

Будьте здоровы и счастливы. Все будет хорошо, и ход истории меня вполне удовлетворяет.

Привет Ксении Михайловне.

Искренне Ваш Д. Лихачев

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Как же это так случается! Еще в феврале Вы мне писали если не очень веселое, то все же ободряющее письмо, и вот уже Вас резали и мучили на хирургическом терзании. А я ничего не знал, хотя бы и ничем не мог помочь, кроме испытывания боли за Вас, дорогого мне человека. Теперь, когда это более или менее в отдаленном прошлом, хочется не сочувствовать, а проклинать человеческую природу, которая вопреки смыслу и выбору попадает в ловушки болезней. Сам я, давно уже попавший в их капкан, старательно перегрызаю ногу, чтобы хоть на одной уйти от барышни смерти еще на несколько сроков. Но к черту болезни и мучения.

Я очень теперь увлечен раскрытием тайны гоголевского «Вия». Источники его сюжета никак не сходятся с какими-то народными преданиями, о которых сам Гоголь упоминает, как о пересказанных им в повести. Исследователи и литературоведы ссылаются и на украинские и на русские сказки и предания о ведьмах и молодых юношах, подвергшихся воздействию их колдовства. Не забыты исследователями и немецкие романтики Тик, Гофман, бр. Гримм и т. д. Но указания, ка-

кие же именно сказки могут быть приведены к повести Гоголя, как ее предшественницы, никем не оговорено. Тем более не сходятся сличения сюжетов немецких романтиков с «Вием». Уж хотя бы потому, что самого-то «Вия» нигде в них не встречается. Гоголь называет его «начальником гномов», как бы намекая на его иностранное происхождение. Ведь о гномах на Украине не было слышно в те времена. Значит, и начальник их был измышлен самим Гоголем. Но не в этом дело. Даже если бы Гоголь и воспользовался деталями народной демонологической фантастики или созданиями немецкой романтики,— все равно сюжет «Вия» настолько разнится от всех напоминающих их мотивов, что его нельзя не считать целиком созданием самого Гоголя. Помимо всех изысканий, мной лично открыт гораздо более убедительный ключ сюжета «Вия». Он как-то странно не замечен исследователями творчества Гоголя, хотя сам просился в руки. Я говорю о переводе В. А. Жуковским баллады английского поэта Соути, перевод которой сделал Жуковский, совершенно ясно показывает знакомство Н. В. Гоголя с этой балладой. Правда, об этом глухо упоминается у одного исследователя, но на этом никто не остановил своего внимания. Мне же думается, что эта-то баллада и дала Гоголю основу для повести. И ни фольклорные мотивы, ни народные сказания не подходят так близко к описанию тройного бдения у гроба ведьмы, где даже сын ее — чернец не осмеливается молиться за преступную мать; сын чернец превращен в «философа» Хому Брута, старуха ведьма при жизни была, очевидно, красавицей, а троекратные ужасы от чтения в церкви над покойницей были, конечно, ужасами самого Гоголя перед колдовской красотой женского обличья. Да, не в «Вие» тут дело; он придуман Гоголем для отвлечения от основной темы — убийственности женской красоты для творчества, для развития духовных сил человека, если эта красота — внешняя

прелесть, внешнее очарование, покоряющее и делающее человека смолоду рабом страстей. Так было с Андреем Бульбой, изменившим товариществу, семье, родине из-за околдовавшей его еще смолоду красавицы. Так гибнет и Хома Брут, узнающий в мертвых чертах панночки ведьмовскую красоту убитой им ведьмы, которая отомстила за себя и после смерти.

Вот какую сказку рассказал я Вам, дорогой мой мученик! Возможно, что мои догадки и неосновательны, но очень напрашиваются живые примеры из недавнего прошлого. Это и жена Пушкина, и Айседора Дункан Есенина — боюсь, я прав, это же и влюбившая в себя смолоду «Л. Ю. Б.» молодого Маяковского. Женщина, если она не друг навеки, если она только внешнее очарование молодости, проходящая мимо объекта, погубленного ею, это — ведьма. Так думал Гоголь, я уверен в этом. А вот еще докука. В своем болезненном увлечении статейными высказываниями я осмелился изложить давно мне не дающие покоя мысли о некоторых истолкованиях текста «Слова о полку Игореве». Тут Вам и книги в руки. Посылаю Вам на суд свои домыслы, вернее, свои прочтения некоторых слов и выражений. Бейте, но милуйте. У кого же мне еще спросить совета в таком деле?

Кончаю затянувшееся письмо надеждой на ответ, хотя бы и сердитый, но правдивый. Обнимаю Вас сердечно.

Преданный Вам Ник. Асеев

Москва. Март, 22. 1963

Посылаю свои домыслы о «Слове»¹. Если они ни в какую дверь не лезут, уничтожьте их. Для этого и по-

¹ Статья Н. Асеева «К «Слову о полку», написанная в апреле 1962 г.

сылаю, чтобы не иметь копии и не тужить о зря потраченном времени. Если же найдется что-нибудь путное — оставьте себе, как пример резвости воображения, не подкрепленного точными данными (Н. А.).

Дорогой Ник. Никол.!

А у меня снова «буря». В субботу снова свезли в больницу в очень плохом состоянии. Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Через неделю вернусь домой.

О «Вие» очень интересно!

Вашу превосходную статью о Слове о п. Иг. я не только хочу оставить у себя, но прошу Вашего разрешения опубликовать ее в журн. «Русская литература». Это неважно, что я кое с чем в ней не согласен. Важно, что статья мне нравится отношением к «Слову», подходом, языком.

Не согласен я с толкованием слова «вещий». Основное значение не вызывает сомнений: корень тот же, что и в слове «вещица», по-древнерусски — колдунья (см. Словарь Срезневского и в статье В. Л. Комнарочича «Культ Рода и Земли в княжеской среде XII в.» в «Трудах ОДРЛ, т.....»). Олег Вещий — Олег Мудрый, Олег Волшебник (он первоначально считался родоначальником русских князей), а не Олег Вещающий — говорящий громко.

И Боян Вещий — очень хорошо именно в смысле Мудрый, Волшебный, обладающий даром пророчества. Ведь поэт по древним представлениям обладает даром прорицать, мудро предсказывать. «Пророк» Пушкина. «Пророками» были Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский. А разве Вы в себе не чувствуете дара прорицания? Вы тоже пророк. Вы обладаете не только даром пророка, но и властью пророка. Во многих Ваших статьях Вы говорите как пророк. Поэтому и молодежь находит.

Боян Мудрец, Боян пророк — это, я убежден, гораздо вернее.

Очень заинтересовала меня мысль о том, что «Слово» написано несколькими авторами. Это очень типично для древнерусской литературы. Однако не бывает в древней Руси, чтобы писали «содружеством». Писал сперва один; потом другой «улучшал» какой-нибудь список, дополнял его своим, не заботясь о единстве стиля, создавая «ансамбль» контрастирующих стилей. В содружестве не родилось бы первое лицо ед. числа об авторе («что мне слышится»). Вот понравилась мысль (никто ее еще не высказывал), что стиль Бояна меняется на другой «сообразно изменившимся условиям».

О «тяготении» интересно. Но ведь нет худого и в старом толковании. Шеломя — пограничный со степью курган, мимо которого проходил шлях в степь (у меня есть об этом в комментариях). Это конкретное географ. название. Шеломя есть еще в Ипатьевской летописи. Перейдя границу своей земли, естественно сказать, вернее, тяжело вздохнуть: «Вот уж родина позади — осталась за Карпатами... за Неманом!» Но и об этом я раньше не подумал, — сказать, что вся гигантская страна — за одним маленьким холмом или за одной пограничной станцией Чоп, — странно! Хотя и в шлеме можно оглянуться. Шли ведь оборачиваясь, а перейдя границу, оборачивались особенно часто, махали руками. В «Слове» все очень конкретно.

Ну вот, заболтался. Так можно передать «Русской литературе»? Они платят там гонорар, хотя журнал и бедный.

Не хворайте и Вы.

Вернусь домой не раньше, чем через неделю.

Искренне и всегда Ваш Д. Лихачев